Сиддхартха

Автор:
Герман Гессе

Сиддхартха

Герман Гессе

«Сиддхартха» – жемчужина прозы Германа Гессе, на страницах которой нашли свое отражение путешествия писателя по Индии, а также его интерес к восточным религиям.

Местом действия является Индия времен Сиддхартхи Гаутамы – основателя одной из наиболее глубоких и мудрых религий человечества – буддизма. В этой небольшой книге Гессе удалось объяснить европейцам его суть, создать идеальную систему – некий свод взаимосвязанных правил, как нужно жить, как следует исправлять свои ошибки, как найти свое истинное «я».

Эту притчу стоит читать и перечитывать не из-за сюжета и не в поиске новых знаний, а из-за того глубинного понимания мира, ощущения единения с окружающими, которое она дает.

Герман Гессе

Сиддхартха

Hermann Hesse

SIDDHARTATHA

Печатается с разрешения издательства Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.

© Hermann Hesse, 1922

© Перевод. Н.Н. Федорова, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Часть первая

Сын Брахмана

Под сенью дома, на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой рощи, под сенью смоковницы рос Сиддхартха, прекрасный сын брахмана, юный сокол, рос вместе с другом своим Говиндой, сыном брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу, во время купанья, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой рощи, во время отроческих игр, под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповедей отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служенье медитации. Он умел уже беззвучно произносить ом, слово из слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, осиянным блеском ясно мыслящего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман, несокрушимый, неотделимый от вселенной.

Радостью полнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленого, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца – князя среди брахманов.

Блаженством полнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает – Сиддхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, приветствующий ее с безупречным достоинством.

Любовь трепетала в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха шагал по городским улицам – сияющее чело, царственный взор, узкие бедра.

Но больше всех любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений, любил все, что бы ни делал и ни говорил Сиддхартха, а превыше всего любил его дух, его пылкие, возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал: не будет Сиддхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым храмовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным празднословом, ни злобным, коварным жрецом, как не будет и кротким глупым стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сиддхартхой, возлюбленным, несравненным. И если Сиддхартха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сонм лучезарных, то Говинда последует за ним – его друг, и спутник, и слуга, и копьеносец, и просто его тень.

Все любили Сиддхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу.

Самого же себя Сиддхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада средь свежести смоковниц, сидя в мерцающе-синей тени рощи созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движенье, всеми любимый, всех радующий, он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грезы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцанье искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей; грезами и беспокойными мыслями курились жертвы, дышали стихи Ригведы, сочились проповеди стариков брахманов.

Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца, и любовь матери, и любовь друга, Говинды, не будут вечно, до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, довлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы брахманы уже сообщили ему бульшую и лучшую часть своих познаний, перелили их в его ожидающий сосуд, и сосуд не наполнился, дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло.

Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою, они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращенье к богам – но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Вправду ли именно Праджапати создал мир? А не атман ли, Он, единственный, единосущный? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, преходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам, есть ли высокий смысл в таком деянье? Кому же тогда приносить жертвы, кому оказывать почести, как не Ему, единственному, атману? А где найти атман, где Он обитает, где бьется Его вечное сердце, где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Он – не плоть и не кости, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же оно, где? Проникнуть туда, к этому «я», ко «мне», к атману, – есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведает, ни отец, ни учители и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения! Всё они знали, брахманы и священные их книги, всё они знали, обо всем пеклись, и даже более чем обо всем; бесконечно многое было им ведомо: сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов, – но что проку в этом знании, если не знаешь одного-единственного, самого важного, единственно важного?

Конечно, многие стихи священных книг, особенно в Упанишадах Самаведы, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасные стихи. «Душа твоя – весь мир», – написано там, а еще написано, что во сне, в глубоком сне человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах, все знание мудрейших собрано здесь в магических словах, чистое, как собранный пчелами мед. Да, немалого уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов… Но где же те брахманы, где жрецы, где мудрые или кающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха, и прежде всех – своего отца, чистого, сведущего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения, спокойны и благородны были его манеры, чиста его жизнь, мудра его речь, изысканные и возвышенные помыслы обитали у него в голове – однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир? Не был ли и он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не приходилось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? Отчего ему, безупречному, приходилось каждый день смывать грех,

каждый день домогаться очищения, каждый день заново? Разве не было в нем атмана, разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я», им-то и надо овладеть! Все остальное – исканье, окольный путь, ошибка.

Таковы были помыслы Сиддхартхи, такова – его жажда, таково – страданье.

Часто повторял он слова из Чхандогьи-упанишады: «Поистине, имя Брахмана есть Сатьям – вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный». Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сиддхартха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. И из всех мудрых и мудрейших, которых он знал и наставленьям которых внимал, – из них всех ни один не достиг его вполне, мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды.

– Говинда, – молвил Сиддхартха своему другу, – Говинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, предадимся медитации.

Они пошли к баньяну, сели там – Сиддхартха, а двадцатью шагами дальше Говинда. Усаживаясь, готовясь произнести ом, Сиддхартха нараспев повторил такие стихи:

Ом – это лук, стрела его – душа,

А цель стрелы – Брахман,

И поразить стрелою эту цель

Должно во что бы то ни стало[1 - Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II:2). – Примеч. пер.].

Когда истекло привычное время медитации, Говинда поднялся. Свечерело, настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сиддхартху по имени. Сиддхартха не ответил. Сиддхартха пребывал в медитации, глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель, кончик языка чуть выглядывал между зубов, он словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя ом, послав душу свою, как стрелу, к Брахману.

Немногим ранее через город, где жил Сиддхартха, проходили саманы, странствующие аскеты, трое мужчин, худущие, как бы потухшие, не старые и не

молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения, беспощадного освобождения от самости.

Вечером, после часа созерцания, Сиддхартха сказал Говинде:

– Завтра поутру, друг мой, Сиддхартха уйдет к аскетам. Он станет одним из них.

Говинда побледнел, услыхав эти слова и прочтя в недвижном лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же, с первого взгляда Говинда понял: вот и свершилось, Сиддхартха начинает свой путь, его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура.

– О Сиддхартха, – воскликнул он, – позволит ли это твой отец?

Сиддхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Говинды – прочел страх, прочел смирение и преданность.

– О Говинда, – тихо молвил он, – не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета-саманы. Не говори об этом больше.

Сиддхартха вошел в комнату, где на лубяной циновке сидел его отец, и стал у отца за спиной, и стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть.

– Это ты, Сиддхартха? – произнес брахман. – Говори же, зачем пришел. Что желаешь мне сказать?

И Сиддхартха ответил:

– С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать аскетом-саманой – вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому.

Брахман молчал, молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор прежде, чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки, сын, безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил:

– Не пристало брахману говорить резкие и гневные слова. Но негодование снедает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз.

Брахман медленно поднялся на ноги, Сиддхартха стоял безмолвно, скрестив руки.

– Чего ты ждешь? – спросил отец.

– Ты знаешь, – ответил Сиддхартха.

В раздраженье отец покинул комнату, в раздраженье пошел к своей постели и лег.

Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхартха стоит недвижимый, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством в сердце отец вернулся на свое ложе.

Спустя час – сон так и не смежил ему веки – брахман опять встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату: Сиддхартха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе.

И он вновь выходил спустя час и спустя два часа, заглядывал через маленькое оконце, видел Сиддхартху – тот стоял, в сиянье луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его полнилось гневом, полнилось беспокойством, полнилось неуверенностью, полнилось болью.

И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым.

– Сиддхартха, – молвил он, – чего ты ждешь?

– Ты знаешь чего.

– Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро, и полдень, и вечер?

– Буду стоять и ждать.

– Ты устанешь, Сиддхартха.

– Устану.

– Ты заснешь, Сиддхартха.

– Не засну.

– Ты умрешь, Сиддхартха.

– Умру.

– И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу?

– Сиддхартха всегда подчинялся своему отцу.

– Значит, ты откажешься от своего замысла?

– Сиддхартха поступит так, как скажет ему отец.

Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи легонько дрожат. В лице Сиддхартхи дрожи не было, в дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сиддхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его. Отец коснулся плеча Сиддхартхи.

– Ты пойдешь в лес, – молвил он, – и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приди и научи меня высшему счастью. Если же найдешь

разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать, скажи ей, куда ты уходишь. А мне пора на реку, совершить первое омовение.

Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сиддхартха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец.

Когда он в первых лучах дня медленно, на негнущихся ногах покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику – Говинда.

– Ты пришел, – сказал Сиддхартха и улыбнулся.

– Да, я пришел, – сказал Говинда.

У аскетов

Вечером этого дня они догнали аскетов, худущих подвижников-саманов, и спросили, нельзя ли примкнуть к ним, стать их смиренными спутниками. И были приняты.

Свою одежду Сиддхартха отдал бедному брахману, встретившемуся на дороге. Теперь на нем были только набедренная повязка да землистого цвета накидка из несшитого куска материи. Ел он лишь раз в день и вареной пищи не употреблял. Он постился пятнадцать дней. Постился двадцать восемь дней. Плоть его бедер и щек усыхала. Жаркие мечтания горели в его огромных глазах, на костлявых теперь пальцах отрастали ногти, а на подбородке – жесткая лохматая борода. Ледяным становился его взгляд при встрече с женщинами; презрительно кривился его рот, когда ему случалось проходить через город, полный нарядно одетых людей. Он видел, как торгуют торговцы, едут на охоту князья, скорбящие оплакивают своих покойников, блудницы предлагают себя, лекари пользуют недужных, жрецы назначают день посева, любящие любят, матери кормят грудью младенцев, – и все это даже взгляда его не заслуживало, все обманывало, все смердело, все смердело обманом, все прикидывалось

смыслом, и счастьем, и красотою, а было подспудным тленом.

Одна цель стояла перед Сиддхартхой, одна-единственная: опустошитъся, избыть все – жажду, желания, грезы, радости и страданье. Отмереть от самого себя, лишиться своего «я», с опустошенным сердцем обрести покой, освободив мысль от самости, распахнуться навстречу чуду – такова была его цель. Когда «я» будет полностью побеждено и умрет, когда умолкнут в сердце всякая страсть и всякое влечение, тогда непременно проснется самое последнее, самое сокровенное в его существе, уже не-«я», великая тайна.

Молча стоял Сиддхартха под отвесными лучами палящего солнца, сгорая от боли, сгорая от жажды, стоял, пока не утратилось и чувство боли, и чувство жажды. Молча стоял он в сезон дождей, вода текла с его волос на зябнущие плечи, струилась по зябнущим бедрам и голеням, пока плечи и бедра не перестали зябнуть, пока не умолкли, пока не утихли. Молча сидел он на корточках в колючих дебрях, горящая кожа сочилась кровью, нарывы – гноем, а Сиддхартха не шевелился, пока не перестала течь кровь, пока не перестали жалиться колючки, пока не унялось жженье.

Сиддхартха сидел прямой, как свеча, и учился беречь дыхание, учился обходиться малой толикой дыхания, учился останавливать дыхание. Он учился, начавши с дыхания, успокаивать биенье сердца, учился уменьшать частоту ударов сердца, пока не становились они редкими и не умолкали почти совсем.

Под руководительством старейшего из аскетов постигал Сиддхартха освобождение от самости, предавался медитации по новым, аскетическим предписаниям. Цапля пролетала над бамбуковым лесом – и Сиддхартха принимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, был цаплей, поедал рыбу, голодал цаплиным голодом, кричал цаплиным криком, умирал цаплиной смертью. Дохлый шакал валялся на песчаном берегу, и душа Сиддхартхи скользнула в это мертвое тело, и стала дохлым шакалом, и валялась на берегу, раздуваясь, смердя, истлевая, гиены разорвали ее на куски, стервятники содрали с нее кожу, и она обратилась в остов, обратилась в прах, развеялась по ветру. И душа Сиддхартхи возвращалась, умирала, истлевала, развеивалась прахом, вкушала мрачный хмель круговорота бытия, нетерпеливо, снедаемая новой жаждой, словно охотник, ждала щелки, через которую можно вырваться из круговорота, туда, где конец всех причин, где начинается безмятежная вечность. Он умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память, переселялся из своего «я» в тысячи чужих обличий, был зверем, был падалью, был камнем,

древесиной, водою и, пробуждаясь, всякий раз обретал себя, под солнцем или под луной, опять был «я», вращался в круговороте, испытывал жажду, преодолевал жажду, испытывал жажду вновь.

Многому научился Сиддхартха у саманов, многими путями научился он уходить от «я». Он шел по пути освобождения от самости через боль, через добровольное ощущение боли, голода, жажды, усталости. Он шел по пути освобождения от самости через медитацию, через опустошение разума от всех представлений. Он научился идти этими и разными иными путями, тысячи раз покидая свое «я», часами и целыми днями пребывая в не-«я». Но хотя и уводили эти пути от «я», в конце они всегда вновь к нему же возвращались. Тысячи раз Сиддхартха ускользал из «я», находился в Ничто, находился в звере, в камне – неминуемо было возвращенье, неизбежен час, когда он обретал себя, под солнцем или под луной, в тени или под дождем, и вновь становился «я», становился Сиддхартхой, и вновь терзался неотвратимостью круговорота.

Рядом с ним как бы тенью его жил Говинда, шел почти теми же путями, подвергал себя тем же тяготам. И разговоры их редко касались предметов, не связанных со служением и ученичеством. Порой они вдвоем бродили по деревням, выпрашивая пропитание для себя и своих наставников.

– Как ты думаешь, Говинда, – сказал в один из таких дней Сиддхартха, – как ты думаешь, мы продвинулись вперед? Достигли каких-то целей?

И Говинда ответил:

– Мы учились и продолжаем учиться. Ты будешь великим саманой, Сиддхартха. Как быстро ты усваивал всякое упражнение, старики аскеты часто восхищались тобой. Когда-нибудь ты станешь святым, о Сиддхартха.

И молвил Сиддхартха:

– А вот мне так не кажется, друг мой. Все, чему я до сего дня выучился у саманов, я мог бы выучить быстрее и проще – в любом кабаке веселого квартала, друг мой, среди возчиков и игроков в кости.

И сказал Говинда:

– Сиддхартха смеется надо мной. Как бы мог ты научиться медитации, сдерживанию дыхания, невосприимчивости к голоду и боли там, у этих жалких существ?

И Сиддхартха произнес тихо, будто обращаясь к самому себе:

– Что есть медитация? Что есть выход из телесной оболочки? Что есть пост? Что – сдерживанье дыхания? Бегство от «я», краткий уход от мук «я»-бытия, краткое забвенье боли и нелепости жизни. Точно так же погонщик быков бежит от жизни, находит краткое забвенье в пивной, осушив несколько чарок рисовой водки или кокосовой браги. Тогда он не ощущает уже своей самости, не испытывает жизненной боли, тогда ненадолго приходит к нему забвенье. Уснув над чаркой рисовой водки, он обретает то же, что обретают Сиддхартха и Говинда, когда после долгих радений покидают свою телесную оболочку, пребывая в не-«я». Вот так-то, о Говинда.

На это молвил Говинда:

– Так ты говоришь, о друг мой, а все же сознаешь, что Сиддхартха не погонщик быков и самана не выпивоха. Пьяница хотя и обретает забвенье, хотя и уходит ненадолго от жизни, давая себе роздых, однако ж он, очнувшись от грез, обнаруживает, что все осталось по-прежнему, и не становится мудрее, не пополняет копилку знания, не восходит вверх по ступеням.

И Сиддхартха с улыбкой сказал:

– Не знаю, я никогда не был пьяницей. Но что я, Сиддхартха, обретаю в своих радениях и медитациях лишь краткое забвенье и столь же далек от мудрости, от спасенья, как был далек младенцем в утробе матери, – это я знаю, о Говинда, это я знаю.

Также и в другой раз, когда Сиддхартха с Говиндой вышли из лесу и отправились в деревню попросить немного пищи для братьев своих и наставников, Сиддхартха заговорил и начал так:

– Ну что же, о Говинда, на верном ли мы пути? Приближаемся ли к познанию? Приближаемся ли к спасенью? Или, быть может, ходим по кругу – мы, желавшие вырваться из круговорота?

Говинда же сказал:

– Многому мы научились, Сиддхартха, и многому нам еще предстоит научиться. Мы не ходим по кругу, мы поднимаемся вверх, круг – это спираль, и мы уже взошли на ступеньку-другую.

И Сиддхартха отвечал:

– Как по-твоему, сколько лет старейшему из аскетов, нашему почтенному наставнику?

– Лет шестьдесят, – сказал Говинда, – наверное, нашему старейшине лет шестьдесят.

На это Сиддхартха:

– Шесть десятков лет прожил он и не достиг нирваны. Ему и семьдесят сравняется, и восемьдесят, и мы с тобой доживем до столь же преклонного возраста, и будем радеть, и поститься, и медитировать. Но нирваны не достигнем, ни он, ни мы. О Говинда, по-моему, из всех саманов, какие есть на свете, ни один не достигнет нирваны, ни один. Мы обретаем утешение, обретаем забвение, обретаем искусные навыки, которыми обманываем себя. Но самого главного, пути из путей, мы не находим.

– Не стоит, – молвил Говинда, – не стоит все же тебе, Сиддхартха, произносить столь страшные речи! Да как же среди такого множества сведущих мужей, среди такого множества брахманов, среди такого множества суровых и почтенных саманов, среди такого множества ищущих, такого множества глубоко ревностных, святых мужей не найдется ни одного, что прошел путем из путей?

Сиддхартха же промолвил, и в голосе его слышались равно и печаль, и насмешка, промолвил тихо, чуть печально, чуть насмешливо:

– Скоро, Говинда, твой друг покинет эту стезю саманов, по которой так долго шел вместе с тобой. Меня мучит жажда, о Говинда, а на этом долгом пути аскезы жажда моя нисколько не утолилась. Всегда я жаждал познания, всегда был полон вопросов. Я спрашивал брахманов, год за годом, спрашивал

священные Веды, год за годом. Быть может, о Говинда, было бы ничуть не хуже, ничуть не глупее и ничуть не бесполезнее спросить птицу-носорога или шимпанзе. Много времени я потратил, о Говинда, и по сей день не усвоил до конца такую вот истину: научиться невозможно ничему! Мне кажется, то, что мы зовем «ученьем», на самом деле не существует. А существует, о друг мой, лишь одно знание, оно повсюду, и это – атман, который во мне, и в тебе, и во всякой твари. И я начинаю думать, что нет у этого знания врага страшнее, чем желанье знать, чем ученье.

Тут Говинда остановился прямо посреди дороги, воздел руки и произнес:

– Негоже тебе, Сиддхартха, пугать друга такими речами! Поистине страх пробуждают твои слова в моем сердце. Ты только представь себе: если все так, как ты говоришь, если ученья не существует, зачем тогда нужна священность молитв, зачем почтенность варны брахманов, зачем святость подвижников-саманов?! Что, о Сиддхартха, что станется тогда со всем, что есть на земле святого и священного, ценного и достойного почтения?!

И Говинда пробормотал про себя стихи, стихи из Упанишад:

Блажен, кто в размышленье, просветлевши духом,

погружается в атман,

Невыразимо словами блаженство сердца его.

Но Сиддхартха молчал. Он обдумывал слова, сказанные Говиндой, и додумал их до конца.

«Да, что же останется от всего, что казалось нам свято и священно? – думал он, стоя с поникшей головою. – Что останется? Что уцелеет?» И он покачал головой.

И вот однажды, когда юноши прожили у саманов около трех лет, деля с подвижниками их радения, дошла до них многими – прямыми и окольными – путями одна весть, молва, легенда: явился-де некто, по имени Готама, Возвышенный, Будда, он преодолел в себе страданье мира и остановил колесо перерождений. Возглашая проповеди, в окруженье учеников он-де странствует по городам и весям, неимущий, безродный, безженый, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, исполненный радости, и брахманы и князья склоняются перед

ним и делаются учениками его.

Эта весть, эта молва, эта сказка раздавалась, воспаряла то здесь, то там, в городах о ней толковали брахманы, в лесу – подвижники-саманы, вновь и вновь имя Готамы, Будды, достигало ушей Сиддхартхи и его друга – сказанное по-доброму и со злостью, с похвалою и с поношением.

Подобно тому как в краю, где властвует чума, возникает весть, будто там-то и там-то явился человек, мудрец, ведун, чьего слова и дыханья довольно, чтобы исцелить каждого из пораженных моровою язвой, и как затем эта весть бежит по всей стране и всяк говорит о ней, многие верят, многие сомневаются, а многие тотчас сбираются в путь, чтобы повидать мудреца, спасителя, – вот так же разнеслась по здешнему краю эта молва, благоуханно-парящая молва о Готаме, о Будде, мудреце из рода Шакья. Ему, говорили верующие, присуще высшее познанье, он помнил о своих прошлых жизнях, он достиг нирваны и уже не возвращался более в круговорот, не погружался в мутный поток перерождений. Много дивного и невероятного рассказывали о нем, он творил чудеса, одолел демона, беседовал с богами. Противники же его и неверующие говорили, что этот Готама – тщеславный обольститель, что он проводит свои дни в удовольствиях, пренебрегает жертвами, не обладает ученостью и не знает ни радений, ни умерщвления плоти.

Сладостно звучала молва о Будде, волшебством веяло от этих рассказов. Болен был мир, нестерпимо тяжела была жизнь – и вот здесь словно забил источник, словно раздался зов предвестника, утешный, ласковый, исполненный благородных обетов. Повсюду, куда доносилась молва о Будде, повсюду в индийских землях прислушивались к ней юноши и загорались ожиданием, загорались надеждой, и сыновья брахманов что в городах, что в деревнях дарили гостеприимством всякого странника и пришельца, если приносил он весть о нем, о Возвышенном, о Шакьямуни.

Добралась эта молва и до аскетов в лесу, и до Сиддхартхи, и до Говинды, медленно, капля по капле, каждая капля тяжела от надежды, каждая – тяжела от сомнений. Они мало говорили об этом, ибо старейшине саманов молва пришлась не по душе. Он слыхал, что мнимый этот будда некогда был аскетом и жил в лесу, потом, однако, вновь обратился к благополучной жизни и мирским удовольствиям, и оттого старый аскет ни в грош не ставил этого Готаму.

– О Сиддхартха, – сказал однажды Говинда своему другу, – нынче я был в деревне, и один брахман пригласил меня в свой дом, а в доме его находился некий сын брахмана из Магадхи, который собственными глазами видел Будду и слышал его проповеди. Поистине заболело у меня в груди, и я подумал: хорошо бы и мне, хорошо бы нам обоим, мне и Сиддхартхе, дожить до мгновенья, когда мы услышим проповедь из уст Совершенного! Скажи, друг мой, не отправиться ли и нам туда, не послушать ли проповедь из уст самого Будды?

Ответил Сиддхартха:

– Всегда, о Говинда, я думал, что Говинда останется у саманов, всегда полагал я, что цель его – достичь шестидесяти- и семидесятилетнего возраста, упражняясь в искусствах и раденьях, которые украшают аскета. И вот оказывается, я слишком мало знал Говинду, мало знал о сердце его. Итак, мой дорогой, ты желаешь отправиться в дорогу, туда, где Будда проповедует свое учение.

И Говинда произнес:

– Тебе угодно насмешничать. Что ж, насмешничай, о Сиддхартха, изволь! Но разве не проснулось и в тебе желание, стремление услышать эту проповедь? И не ты ли говорил мне, что недолго осталось тебе идти путем саманов?

Тут Сиддхартха рассмеялся, по своему обычаю, причем тон его голоса окрасился легкой печалью и легкой насмешкой, и молвил:

– Хорошо сказал ты, Говинда, правильно ты запомнил. Но вспомни же и иное, услышанное от меня – что я не доверяю проповедям и учению, что они наскучили мне и невелика моя вера в слова, приходящие к нам от наставников. Впрочем, ладно, я готов услышать то учение – хотя в сердце моем полагаю, что лучший плод этого учения мы уже вкусили.

На это Говинда:

– Твоя готовность радует мне сердце. Но скажи, как это возможно? Как учение Готамы, которого мы еще не слыхали, могло уже открыть нам свой лучший плод?

И отвечал Сиддхартха:

– Давай, о Говинда, вкусим этот плод и подождем, что будет! Плод же этот, которым мы уже теперь обязаны Готаме, плод этот – клич уйти от аскетов! Ну а дарует ли он нам иное и лучшее, о друг мой, придется подождать, со спокойной душою.

В этот же самый день Сиддхартха сообщил старейшине саманов, что решил покинуть его. О своем решении он известил старейшину со всей учтивостью и скромностью, каковые подобают младшему годами и ученику. Самана же разгневался, что юноши пожелали оставить его, и говорил громко, и употреблял грубые, бранные слова.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхартха, однако, наклонился к уху Говинды и прошептал:

– Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него научился.

Он стал перед саманой, сосредоточившись душою, вперился взглядом в глаза старика, зачаровал его, лишил речи, лишил воли, подчинил его себе, приказал без единого слова сделать все, что он, Сиддхартха, требует. Старик умолк, взгляд у него стал стеклянным, воля оцепенела, руки повисли, бессильный, он покорился чарам Сиддхартхи. А мысли Сиддхартхи овладели саманой, он поневоле исполнил все, что они повелевали. И вот старик несколько раз поклонился, жестом дал им свое благословение, запинаясь произнес благочестивое напутствие. И юноши поклонились в ответ, поблагодарили за напутствие и, попрощавшись, отправились в дорогу.

Говинда сказал по пути:

– О Сиддхартха, ты научился у аскетов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно зачаровать старика саману. Поистине останься ты там – и вскоре научился бы ходить по водам.

– Я не жажду ходить по водам, – молвил Сиддхартха. – Пусть такими искусствами довольствуются старики аскеты.

Готама

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды, и каждый дом готов был наполнить чашу для подаяния ученикам Готамы, безмолвным просителям. Поблизости от города находилось излюбленное прибежище Готамы, роща Джетавана, которую даровал ему и его сподвижникам богатый купец Анатхапиндика, верный почитатель Возвышенного.

На это место указывали рассказы и ответы, выслушанные молодыми аскетами в поисках прибежища Готамы. И когда они очутились в Саватхи, в первом же доме, у дверей которого они остановились, прося подаяния, им предложили пищу, и они приняли ее, а Сиддхартха спросил у женщины, что подала им поесть:

– О благодетельница, нам бы очень хотелось узнать, где пребывает досточтимейший Будда, ибо мы, лесные аскеты-саманы, пришли увидеть Совершенного и услышать проповедь из собственных его уст.

И ответила женщина:

– Поистине, лесные саманы, вы пришли туда, куда вам потребно. Знайте же, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает Возвышенный. Там и вы, странники, сможете переночевать, ибо в саду том довольно места для всех несчетных множеств, что стекаются слушать проповедь из собственных его уст.

И возрадовался Говинда, и радостно сказал:

– Прекрасно, значит, наша цель достигнута и путь наш завершен! Но скажи нам, о матерь странников, знаешь ли ты его, Будду, видела ли его своими глазами?

Женщина молвила на это:

– Много раз я видела Возвышенного. Много дней видела, как он ходит по улицам, безмолвный, в шафранно-желтых одеждах, как безмолвно протягивает у дверей чашу для подаяния, как уносит с собою наполненную чашу.

С восторгом внимал ей Говинда, и о многом еще хотелось ему расспросить и о многом услышать. Но Сиддхартха напомнил, что время продолжить путь. Они

поблагодарили, и пошли дальше, и почти не спрашивали о дороге, потому что в Джетавану шагало немалое число странников и монахов из общины Готамы. А когда ночью они добрались до места, там сновали люди, слышались возгласы и разговоры тех, кто искал приюта и обретал его. Оба аскета, привычные к лесной жизни, быстро и без шума отыскали себе прибежище и отдыхали до утра.

На восходе солнца они с изумлением увидали, сколь великое множество народу – верующих и любопытных – здесь ночевало. Монахи в желтых одеждах прогуливались по всем дорожкам прекрасной рощи, сидели там и сям под деревьями, погруженные в созерцание или увлеченные духовной беседой; точно город выглядели тенистые сады, и людей в них было, что пчел в улье. Большинство монахов с чашами для подаянья шли в город, чтобы собрать пищу на обед, единственную их трапезу. И сам Будда, Просветленный, тоже просил по утрам милостыню.

Сиддхартха увидел его и тотчас узнал, словно кто-то из богов сделал ему знак. Он увидел скромного человека в шафранно-желтой одежде, который шел по дороге с чашей для подаянья в руках.

– Смотри! – тихо молвил Сиддхартха Говинде. – Вот он и есть Будда.

Внимательно посмотрел Говинда на монаха в желтой одежде, который как будто бы ничем не отличался от сотен других монахов. И скоро Говинда тоже понял: да, это он. И оба пошли следом, наблюдая за ним.

Будда шагал своей дорогой, неприметный, погруженный в свои мысли, безмятежное лицо его не было ни радостно, ни печально, он как бы тихонько улыбался про себя. С затаенной улыбкой, безмятежный, спокойный, чем-то похожий на пышущего здоровьем ребенка, Будда и двигался, и носил свое одеянье, и ступал в точности как все монахи, в точности как предписано. Однако его лицо, и поступь, и безмятежно устремленный долу взор, и безмятежно опущенная рука, и даже любой из пальцев его безмятежно опущенной руки говорили об умиротворенности, говорили о совершенстве – он никому не подражал, никого не искал, мирно дышал невозмутимым покоем, неугасимым светом, высочайшей умиротворенностью.

Вот так Готама шел в город собирать подаянье, и оба аскета узнали его единственно по совершенству его покоя, по безмятежности облика, в котором не

чувствовалось ни искания, ни хотения, ни подражания, ни усилия – только свет и умиротворенность.

– Нынче мы услышим проповедь из его уст, – сказал Говинда.

Сиддхартха не ответил. Проповедь мало интересовала его, он не верил, что почерпнет из нее нечто новое, ведь и сам он, и Говинда не раз уже слыхали, в чем состоит учение этого Будды, хотя бы и из вторых и третьих уст. Но он внимательно смотрел на голову Готамы, на его плечи, на его ноги, на безмятежно опущенную руку, и казалось ему, будто каждый палец, каждый ноготь этой руки были учением и проповедью, говорили, дышали, благоухали, блистали истиной. Этот человек, этот Будда был истинным, настоящим до малейшего шевеленья мизинца. Этот человек был святым. Никогда Сиддхартха не почитал так ни одного человека, никого никогда так не любил, как его.

Они проводили Будду до города и молча вернулись обратно, ибо сами намеревались в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Готама воротился, как вкушал трапезу в кругу своих учеников – тем, что он съел, не насытилась бы и птица, – видели, как он удалился под сень манговых деревьев.

А вечером, когда спала жара и весь лагерь ожил и собрался вместе, они услышали проповедь Будды. Услышали его голос, и он тоже был совершенен, полон совершенного спокойствия, полон умиротворенности. Готама проповедовал учение о страдании, о происхожденье страдания, о пути к уничтоженью страдания. Спокойно и ясно текла его безмятежная речь. Страданием была жизнь, и мир исполнен страдания, но уже найдено избавление: обретал избавление тот, кто шел путем Будды.

Кротким, однако же твердым голосом говорил Возвышенный, проповедовал Четыре Истины, проповедовал восьмеричную дорогу, терпеливо шел привычным путем поучения, примеров, повторений, светло и безмятежно парил его голос над внемлющими, как светоч, как звездное небо.

Когда Будда – уже настала ночь – завершил свои речи, иные из паломников вышли вперед и попросили принять их в общину, нашли свое прибежище в учении. И Готама принял их с такими словами:

– Вот и услышали вы учение, вот и оглашена его проповедь. Придите же и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И Говинда тоже выступил вперед, робкий Говинда, и молвил:

– И я ищу прибежище у Возвышенного и в учении его, – и попросил допустить его в число учеников, и был допущен.

Немногим позже, когда Будда удалился на ночлег, Говинда обратился к Сиддхартхе и пылко воскликнул:

– Сиддхартха, не пристало мне делать тебе упреки. Мы оба слышали Возвышенного, оба внимали его проповеди. Говинда выслушал поучение и обрел в нем прибежище. А ты, досточтимый, разве не желаешь идти дорогою избавления? Разве станешь ты медлить, станешь еще ждать?

Сиддхартха как бы пробудился от сна, внимая речи Говинды. Долго смотрел он Говинде в лицо. Потом тихо, без насмешки в голосе молвил:

– Говинда, друг мой, вот ты и сделал шаг, вот и выбрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был моим другом, всегда шел следом за мною. Я часто думал: не сделает ли Говинда когда-нибудь собственный шаг, без меня, по зову своей души? И вот ты стал мужчиной и сам выбираешь свой путь. Так пройди же его до конца, о друг мой! И обрети спасение!

Говинда, который еще не вполне понимал, нетерпеливым тоном повторил свой вопрос:

– Говори же, прошу тебя, мой дорогой! Скажи мне – ведь иначе и быть не может, – что и ты, мой сведущий друг, обретешь прибежище у Возвышенного Будды!

Сиддхартха положил руку свою на плечо Говинды.

– Ты не услышал моего благословения, о Говинда! И я повторяю его: пройди же этот путь до конца! Обрети спасение!

В этот миг осознал Говинда, что друг покинул его, и заплакал.

– Сиддхартха! – жалобно вскричал он.

Сиддхартха же приветливо молвил:

– Не забывай, Говинда, теперь ты один из монахов Будды! Ты отрекся от родины и от отца с матерью, отрекся от семьи и собственности, отрекся от своей воли, отрекся от дружества. Так того желает учение, так желает Возвышенный. Так пожелал ты сам. Завтра, о Говинда, я покину тебя.

Долго еще бродили друзья в роще, долго лежали, и сон не осенял их своим крылом. А Говинда снова и снова упрашивал друга открыть ему, отчего не желает он обрести прибежище в учении Готамы, какой изъян видит он в этом учении. Но Сиддхартха всякий раз уклонялся от ответа, говорил только:

– Успокойся, Говинда! Прекрасно учение Возвышенного, разве можно найти в нем изъян!

Ранним утром один из сподвижников Будды, один из старейших его монахов, обошел рощу, скликая к себе всех послушников, обретших прибежище в учении, дабы облачить их в желтые одежды и сообщить им первые уроки и обязанности их теперешнего звания. Тут Говинда оторвался от друга своей юности, обнял его напоследок и примкнул к веренице послушников.

А Сиддхартха в задумчивости прохаживался среди деревьев.

И встретился ему Готама, Возвышенный, а когда он благоговейно поздоровался с ним и прочел во взгляде Будды огромную доброту и безмятежность, то воспрянул духом и попросил у Досточтимого позволенья обратиться к нему. Молча, кивком Возвышенный даровал ему свое позволенье.

– Вчера, о Возвышенный, – молвил Сиддхартха, – мне выпало счастье услышать твою чудесную проповедь. Из далеких мест пришел я сюда вместе с моим другом услышать эту проповедь. И теперь мой друг останется среди твоих сподвижников, найдя прибежище в твоем учении. А я продолжу свое странствие.

– Как тебе будет угодно, – учтиво ответил Возвышенный.

– Непомерно дерзостна моя речь, – продолжал Сиддхартха, – но я не хотел бы покинуть Возвышенного, не поведав ему откровенно, без утайки, мои мысли. Подарит ли мне Досточтимый малую толику своего времени? Выслушает ли меня?

Будда безмолвно кивнул в знак согласия.

И Сиддхартха заговорил:

– Одно, о Досточтимейший, восхитило меня в твоей проповеди более всего. В учении твоем все совершенно ясно, все доказательно; совершенной, никогда и нигде не прерывавшейся цепью предстает у тебя мир, вековечной цепью причин и следствий. Никто до сих пор не видел этого столь ясно, никто не доказывал столь неоспоримо; поистине у каждого брахмана должно сильнее биться сердце, когда сквозь призму твоего учения мир открывается ему как совершенное единство, целостное, прозрачное, словно кристалл, независимое от случая, независимое от богов. Пусть останется под вопросом, добрый это мир или злой, мучительна или радостна в нем жизнь; вероятно, это и не важно, но единство мира, взаимосвязанность всего происходящего, принадлежность и большого, и малого к общему потоку, к общему закону причинности, становления и умирания – вот яркий светоч твоего высокого учения, о Совершенный. И тем не менее, согласно твоему же учению, это единство и логическая упорядоченность всех вещей имеют в одном месте разрыв, сквозь маленькую щелку вливается в этот мир единства нечто чужеродное, нечто новое, прежде небывалое, невыявляемое и недоказуемое – твое учение о преодоленье мирского, о спасении. Но эта маленькая прореха, эта маленькая трещинка вновь ломает и упраздняет весь вековечный и единый мировой закон. Надеюсь, ты простишь мне это возражение.

Безмятежно, невозмутимо выслушал его Готама. А затем Совершенный молвил доброжелательным, учтивым и ясным голосом:

– Ты слышал проповедь, о сын брахмана, и хорошо, что ты так глубоко размышлял о ней. Ты нашел в учении трещинку, изъян. Что ж, продолжи свои размышления. Но позволь предостеречь тебя, любомудрый юноша, от дебрей суждений и от спора о словах. В суждениях нет важности, каковы бы они ни

были – прекрасные или безобразные, умные или безрассудные, всякий может быть им привержен или может пренебречь ими. Проповедь же, которую ты слышал от меня, не есть мое суждение и не ставит перед собой цели объяснить мир жаждущим знания. Ее цель в ином; ее цель – спасение, освобождение от страданья. Вот чему учит Готама, и только.

– Не гневайся на меня, о Возвышенный, – сказал юноша. – Я говорил так не затем, что ищу спора с тобою, спора о словах. Поистине ты прав, в суждениях нет важности. Но позволь сказать тебе еще одно: ни мгновенья не сомневался я в тебе. Ни мгновенья не сомневался я в том, что ты Будда, что ты достиг цели, высшей цели, к которой стремятся столь многие тысячи брахманов и сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти. Оно явилось тебе из собственных твоих исканий, на собственном твоем пути, через медитацию, через познание, через просветление. Не из проповеди, не из учения явилось оно тебе! И – такова моя мысль, о Возвышенный! – никто не обретет спасения через проповедь! Никому, о Досточтимый, не сообщишь ты в словах, посредством проповеди то, что произошло с тобой в миг просветления! Многое заключено в учении просветленного Будды, многих оно учит жить праведно, чураться зла. Одного лишь нет в этом столь ясном, столь досточтимом учении – тайны происшедшего с самим Возвышенным, с ним одним, единственным из сотен тысяч. Вот о чем я размышлял, вот что открылось мне, когда я слушал проповедь. Вот почему я продолжу свое странствие – не затем, чтобы искать иного, лучшего учения, ибо я знаю, такого не существует, а затем, чтобы оставить все учения и всех учителей и в одиночку достичь моей цели или умереть. Но я буду часто вспоминать этот день, о Возвышенный, и этот миг, когда глаза мои видели Святого.

Глаза Будды безмятежно смотрели долу, безмятежно, в совершенной невозмутимости сиял его непроницаемый лик.

– Пусть мысли твои, – медленно произнес Досточтимый, – не окажутся заблуждением! Пусть цель твоя будет достигнута! Но скажи мне: ты видел ли множество моих саманов, множество моих братьев, нашедших прибежище в этом учении? И ты, чужой самана, полагаешь, что им всем лучше бы отринуть учение и вернуться к мирской жизни, к соблазнам и удовольствиям?

– Я далек от подобной мысли! – воскликнул Сиддхартха. – Пусть не сойдут они с пути этого учения, пусть достигнут своей цели! Не пристало мне судить о чужой жизни! Только о себе, о себе одном должно мне судить, только за себя делать выбор и отвергать. Освобождения от самости «я» ищем мы, саманы, о

Возвышенный. Будь я одним из твоих учеников, о Досточтимый, боюсь, я бы лишь мнимо, лишь обманно успокоил мое «я» и обрел спасение, на деле же оно продолжало бы жить и расти, ибо тогда я бы сделал моею самостью учение, мою приверженность, мою любовь к тебе, монашескую общину!

С полуулыбкой, с неколебимой ясностью и благожелательностью посмотрел Готама в глаза чужеземцу и отпустил его едва заметным жестом.

– Ты умен, о самана, – молвил Досточтимый. – И речи твои умны, друг мой. Остерегайся же чересчур большого ума!

Прочь зашагал Будда, и взгляд его и полуулыбка навсегда остались запечатлены в памяти Сиддхартхи.

«Никогда прежде, – думал он, – я не видел, чтобы человек так смотрел и улыбался, сидел и ступал, поистине и я бы хотел так смотреть и улыбаться, сидеть и ступать – так свободно, так достойно, так замкнуто, так открыто, так ребячливо и таинственно. Поистине так смотрит и ступает лишь человек, проникший в сокровенные глубины своей самости. Что ж, вот и я попытаюсь проникнуть в сокровенные глубины моей самости.

Я видел человека, – думал Сиддхартха, – единственного человека, перед которым не мог не опустить глаз. Ни перед кем больше я не опущу глаз, ни перед кем. Ни одна проповедь больше не увлечет меня, ибо не увлекла меня проповедь этого человека.

Будда обобрал меня, – думал Сиддхартха, – да, обобрал, но еще больше он меня одарил. Он отнял у меня друга, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Готамы. Подарил же он мне Сиддхартху, меня самого».

Пробуждение

Когда Сиддхартха покинул рощу, где остался Будда, Совершенный, где остался Говинда, он почувствовал, что и его прежняя жизнь осталась в этой роще,

отпала от него. Об этом ощущении, переполнявшем его, он размышлял, медленно шагая прочь. Глубоко размышлял, будто в глубокие воды погрузился на самое дно этого ощущения, туда, где покоятся первопричины, ибо мнилось ему, что постичь первопричины и означает мыслить, и лишь благодаря этому ощущения становятся знанием и не пропадают втуне, а обретают сущность и начинают излучать то, что в них содержится.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II:2). – Примеч. пер.

Купить: https://tellnovel.com/german-gesse/siddhartha

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити